

Александр Иванович Куприн

# Телеграфист



Александр Куприн  
**Телеграфист**

«Public Domain»

1911

## **Куприн А. И.**

Телеграфист / А. И. Куприн — «Public Domain», 1911

«Зима. Поздняя ночь. Я сижу на казенном клеенчатом диване в телеграфной комнате захолустной пограничной станции. Мне дремлется. Тихо, точно в лесу. Я слышу, как шумит кровь у меня в ушах, а четкое постукивание аппарата напоминает мне о невидимом дятле, который где-то высоко надо мною упорно долбит сосновый ствол...»

## Александр Иванович Куприн Телеграфист

Зима. Поздняя ночь. Я сижу на казенном клеенчатом диване в телеграфной комнате заолустной пограничной станции. Мне дремлет. Тихо, точно в лесу. Я слышу, как шумит кровь у меня в ушах, а четкое постукивание аппарата напоминает мне о невидимом дятле, который где-то высоко надо мною упорно долбит сосновый ствол.

Напротив меня согнулся над желтым блестящим ясеневым столиком дежурный телеграфист Саша Врублевский. Тень, падающая от зеленого абажура лампы, разрезывает его лицо пополам: верх в тени, но тем ярче освещены кончик носа, крупные суровые губы и острый бритый подбородок, выходящий из отложного белого воротника.

С большим трудом я различаю глубокие глазные впадины и внутри их опущенные выпуклые веки, придающие всему лицу, так хорошо знакомому, некрасивому, милому, скуластому лицу, то выражение важного покоя, которое мы видим только у мертвых.

Саша Врублевский горбат. Я знаю только две породы горбатых людей. Одни – и это большинство – высокомерны, сладострастны, злобны, подозрительны, мстивы, скупы и жадны. Другие же, немногие, а в особенности Саша Врублевский, кажутся мне лучшими брильянтами в венце истинного христианства. Когда я беру в свои руки их слабые, нежные, чуткие и беспомощные ручки, у меня в сердце такое чувство, точно ко мне ласкается большой ребенок. И когда я думаю о Сашиной душе, она мне представляется чем-то вроде большой прекрасной бабочки, – такой трепетной, робкой и нежной, что малейшее грубое прикосновение сомнет и оскорбит красоту ее крыльев. Он кроток, бессребреник, ко всему живому благожелателен и ни о ком ни разу не отозвался дурно. Иногда он говорит мне с ласковой, чуть-чуть укоризненной насмешкой:

– Несправедливые вы люди, господа писатели. Как только у вас в романе или повести появится телеграфист, – так непременно какой-то олух царя небесного, станционный хлыщ, что-то вроде интендантского писаря. Поет под гитару лакейские романсы, крутит усы и стреляет глазами в дам из первого класса. Ей-богу же, милочка, такой тип перевелся пятьдесят лет тому назад. Надо следить за жизнью. Вспомните-ка, как мы выдержали почтово-телеграфную забастовку, а ведь у нас большинство – многосемейные. Знаете, милочка, бедность-то везде плодуща, а жалованье наше – гроши. И если вышвырнут тебя из телеграфа с волчьим паспортом – куда пойдешь? Так-то, милочка. Мне сравнительно легко тогда было, я три языка знаю иностранных, в случае чего не пропал бы. А другие, милочка, прямо несли на это дело свои головы и потроха.

Никогда ему не изменяет его светлое, терпеливое, чуть приукрашенное мягкой улыбкой благодушие. Вот и сейчас: у него висит на ленте очень важная, срочная, едва ли не шифрованная телеграмма из-за границы, а он уже больше четверти часа никак не может ее отправить, и все из-за того, что главная передаточная станция занята с одной из промежуточных самым горячим флиртом. Телеграфист с передаточной загадал барышне с промежуточной какое-то слово, начинающееся на букву «л», и – такой насмешник! – стучит и стучит все одни и те же знаки:

.—...—...—...—..

Но барышня никак не может отгадать этого трудного слова. Она пробует «лампу, лошадь, лук, лагери, лимон, лихорадку».

– Лихорадка – похоже, но не то, – издевается передаточная станция.

«Лира, лава, лак, луна, лебедь», – мучается недогадливая барышня.

Тогда Врублевский, которому надоело ждать, считает нужным вмешаться.

– Барышня, подайте ему – «люблю» – и освободите линию: срочная.

– Подождут, – легкомысленно возражают с передаточной.

Но Врублевский делает развязному телеграфисту строгое замечание и через минуту, не глядя на ленту, уже ловит привычным слухом покаянный ответ:

– Извините, товарищ, но вы сами были молоды и понимаете без слов.

Я вижу, как легкая улыбка раздвигает усы над толстыми, освещенными губами Врублевского. Ему самому не больше двадцати шести лет, но все сослуживцы относятся к нему, как к старику.

– Вот так они целыми вечерами и романсуют, – говорил он, перебирая ленту, закрутившуюся кудрявыми завитками. – Что же, дай бог. Кажется, у них дело серьезное. Он – славный мальчик, и Катерина Сергеевна – хорошая, работающая девушка. Устроятся вместе на станции, и лучше не надо. И как это прекрасно, что женщине наконец начинают давать настоящую работу. А то ведь раньше им, бедняжкам, прямо деваться было некуда. Сиди и вымаливай у бога жениха. Когда еще девушкой – отец ворчит: «Хлеб только даром ешь. Хоть бы нашелся какой-нибудь болван, взял бы тебя, сокровище этакое». А вышла замуж – пеленки, тряпки, кухня, роды, стирка, детей кормить надо. И муж орет: «Дармоедка, обед невкусный; только деньги тратить умеешь да ходить круглый год брюхатой. Поди сбегай за пивом и за папиросами...» А уж если, милочка, заработок общий, он уж так разговаривать не посмеет.

Саша умолкает и, поймав начало телеграммы, начинает сосредоточенно ее выстукивать. Лицо его с опущенными веками неподвижно, и только пальцы его правой руки едва заметно, но быстро и точно вздрагивают на клавише. Мной опять овладевает дремота, и опять я в тихом мутно-зеленом лесу, и опять где-то далеко старается над деревом неутомимый дятел. В это время я думаю о многих странных вещах. О том, что весь земной шар перекрещен, как настоящими нервами, телеграфными линиями и что вот сидит передо мной нервный узел – милый Саша Врублевский, безвестный служитель механического прогресса. Добру или злу он служит, счастью или несчастью будущего человечества? Телеграф был первым важным практическим применением таинственной силы электричества. Гораздо позднее появились телефоны, электрические лампы и кухни, трамваи, беспроводный телеграф, автомобили, аэропланы. Но человечество идет вперед, все быстрее с каждым годом, все стремительнее с каждым шагом. Вчера мы услышали об удивительных лучах, пронизывающих насквозь человеческое тело, а почти сегодня открыт радий с его удивительными свойствами. Человек уже подчинил себе силу водопадов и ветер, – без сомнения, он скоро заставит работать на себя морской прибор, солнечный свет, облака и лунное притяжение. Он внедрится в глубь земли и извлечет оттуда новые металлы, еще более могущественные и загадочные, чем радий, и обратит их в рабство. Завтра или послезавтра, – я в этом уверен, – я буду из Петербурга разговаривать с моим другом, живущим в Одессе, и в то же время видеть его лицо, улыбку, жесты. Очень близко время, когда расстояния в пятьсот – тысячу верст будут покрываться за один час; путешествие из Европы в Америку станет простой предобеденной прогулкой, пространство почти исчезнет, и время помчится бешеным карьером. Но я с ужасом думаю об огромных городах будущего, в особенности когда воображаю себе их вечера. На небе сияют разноцветные плакаты торговых фирм, высоко в воздухе снуют ярко освещенные летучие корабли, над домами, сотрясая их, проносятся с грохотом и ревом поезда, по улицам сплошными реками, звеня, рыча и блестя огромными фонарями, несутся трамваи и автомобили; вертящиеся вывески кинематографов слепят глаза, и магазинные витрины льют огненные потоки. Ах, этот ужасный мир будущего – мир машин, горячечной торопливости, нервного зуда, вечного напряжения ума, воли и души! Не несет ли он с собой повального безумия, всеобщего дикого бунта или, что еще хуже, преждевременной дряхлости, внезапной усталости и расслабления? Или – почему знать? – может быть, у людей выработаются новые инстинкты и чувства, произойдет необходимое перерождение нервов и мозга, и жизнь станет для всех удобной, красивой и легкой? Нет, милый Саша

Врублевский, никто нам не ответит на эти вопросы, хотя ты сам, вот сейчас, сидя за телеграфным аппаратом, бессознательно куешь будущее счастье или несчастье человечества.

Но тут я замечаю, что Врублевский уже с минуту что-то говорит мне. Я стряхиваю с себя ленивое оцепенение, встаю и присаживаюсь за столик. Теперь мне совсем не видно лица моего приятеля, – между нами лампа и аппарат, – но моя рука лежит так близко около его руки, что я ощущаю исходящий из нее теплый ровный ток.

– Это вышло точь-в-точь как бывает в водевилях, – говорит он своим нервным, высоким, чуть хриплым, очень приятным голосом. – Она была влюблена по уши в моего товарища Деспот-Зинович-Братошинского, а я был влюблен в нее. Деспот же, городской лев и донжуан, порхал только с цветка на цветок и обедал и ужинал, по крайней мере, в десяти семействах, где были барышни-невесты. Однако он был чудесный парень, широкий и добрый человек. Его раздавил поезд, когда он был начальником станции Волчьей. Я об ее любви ничего не знал... Нет, это, пожалуй, неверно... Я... как бы выразиться... я в этом отношении точно заклеил воском свои глаза и уши. И вот она сидит за пианино, а я около нее сбоку. Она берет, не глядя на клавиши, какие-то аккорды, слегка повернув ко мне опущенную голову, и говорит об одном человеке, которого она любит, несмотря на его недостатки; говорит, что она скорее умрет, чем обнаружит перед ним свое чувство, что этот человек с ней исключительно любезен и внимателен, но что она не знает его мыслей и намерений, – может быть, он только играет сердцем бедной девушки, и так далее в том же роде. Я же, идиот, нахожусь в полной уверенности, что иносказательная речь идет обо мне, и с жаром уверяю ее, что, наоборот, «он» любит ее больше жизни, родины, чести и прочее. Он готов на все жертвы, и все в этом роде. Что касается недостатков, то к недостаткам привыкают, и так далее... Тогда она вся розовеет каким-то чудесным розовым сиянием, ресницы у нее влажны, и она шепчет едва слышно: «Благодарю вас, вы навсегда останетесь моим лучшим другом, но только, ради бога, ни одного слова ему, Деспоту». Я раскрываю рот, молчу несколько секунд, наконец, заикаясь и точно свалившись с луны, спрашиваю: «Почему же именно... ему... Деспоту?» Тогда она пристально вглядывается в мои глаза, мы сразу понимаем друг друга, и она внезапно раздражается громким, долгим-долгим хохотом... Что ж, конечно, смешно, совсем как в водевиле. Но я хотел в эту ночь отравиться... Не отравился, а напился в клубе, как свинья, первый и единственный раз в жизни. А на следующий день я подал прошение о переводе сюда...

Он замолкает и прислушивается к стуку аппарата. Но зовут не его, и он продолжает:

– В другой раз была настоящая, не водевильная, а большая, нежная любовь с обеих сторон. Это случилось, когда я ездил позапрошлым летом в отпуск к себе в Житомир. Была лунная ночь с соловьями, с ароматами сирени и белой акации, с далекой музыкой из городского сада. Мы ходили по саду, – сад у них громадный, плодовый, – и я держал ее руку в моей. Она первая сказала мне, что любит меня и никого никогда не полюбит, кроме меня. Она говорила, что любит меня таким, как я есть, и что больше всего любит мою душу и... там разные милые, сладкие, волшебные слова. И вот мы вышли на открытое место, на площадку для гигантских шагов. Луна светила нам в спину, и на утоптанной гладкой земле легли две резкие тени: одна – длинная, стройная, с прелестной, немного склоненной набок головкой, с высокой шеей, с тонкой талией, а другая – моя... Ну, вот... Тогда я закрыл лицо руками, забормотал что-то и убежал... Да, убежал, не прощаясь...

Полгода спустя она вышла замуж, а нынче утром я получил от нее письмо. Она счастлива, у нее сынишка, я, конечно, ее лучший друг на свете, и больше всего в жизни ей хочется, чтобы я крестил у нее ребенка. Она извиняется за то, что разбила мое сердце. Ну, это уж глупости. Я рад за нее, очень рад. Дай бог ей счастья... Если ей хорошо, то и я счастлив. Она дала мне хоть иллюзию, хоть призрак любви, и это истинно царский, неоплатный подарок... Потому что нет ничего более святого и прекрасного в мире, чем женская любовь.

Мы молчим с минуту. Потом я прощаюсь и ухожу. Мне идти далеко, через все местечко, версты три. Глубокая тишина, калоши мои скрипят по свежему снегу громко, на всю вселенную. На небе ни облачка, и страшные звезды необычайно ярко шевелятся и дрожат в своей бездонной высоте. Я гляжу вверх, думаю о горбатом телеграфисте. Тонкая, нежная печаль обволакивает мое сердце, и мне кажется, что звезды вдруг начинают расплываться в большие серебряные пятна.

*1911*